

# ЗАМЕТКИ О «БРОСОВОМ ПРИДАНОМ» СОВЕТСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ: СРЕДА ОБИТАНИЯ РОССИЙСКИХ РАБОЧИХ. Резюме

## Джереми Моррис

Моногород, или монопрофильный город, возникший вокруг градообразующего промышленного предприятия, был и остается ключевым элементом организации городского пространства в бывшем Советском Союзе. Моногород – символ процесса, характерного для всего Советского Союза, а именно появления большого количества малых и средних городов. К концу советской эпохи почти 30% населения страны проживало в промышленных поселках городского типа, насчитывавших менее 100 тысяч обитателей. С такой специфически социалистической системой организации пространства связан целый ряд социальных и культурных маркеров, обозначающих классовую принадлежность, родственные отношения, социальные связи, самоопределение местных жителей и т.п. Эти маркеры надолго пережили и социализм, и «конец» советского индустриального опыта, и «распад» классов, и даже вхождение России в систему мировой экономики. Моногорода всегда отличались гораздо большим разнообразием, чем принято считать. Они могли быть крупными, как Тольятти (советский Детройт), и крохотными, как Излучино – цементно-бетонный завод в Калужской области, куда я ежегодно приезжаю уже с 1998 года, а с 2009 года провожу там этнографические изыскания<sup>1</sup>.

Несмотря на то, что сегодня маленькие городки вроде Излучина составляют 25% от общего числа российских городов и производят около 30–40% внутреннего валового продукта, их почти всегда списывают со счетов как бесперспективный реликт советской плановой экономики, не принимавшей во внимание ни естественное развитие поселения, ни его пригодность для проживания. В связи с переосмыслением – с 1990-х годов и по сей день – Евразии как огромного полигона для масштабных неолиберальных экономических реформ, такие «марги-

---

<sup>1</sup> Проект, с которым я когда-то впервые приехал в этот город, включал исследование неформальных экономических практик, частично – не вполне законных. По этическим соображениям я хотел бы сохранить инкогнито своих информаторов и поэтому называю город вымышленным именем. Я изменил также имена упоминаемых в тексте людей и некоторые характеристики градообразующего производства.

нальные» пространства плохо вписываются в представление о глобализации, рисуящее Россию чем-то вроде коровы, которую во что бы то ни стало нужно заставить «ходить под седлом» глобальной экономики. И все же, несмотря на все системные риски, описанные во вводной части статьи, в глазах местных жителей эти городки – вполне процветающие, «пригодные для жизни» места обитания. Отток населения здесь дело обычное, но столь же часто народ возвращается, уехавшие присылают деньги оставленным дома семьям. Социальная незащищенность и упадок повсеместны, но не менее типичны и чувство удовлетворения, и местный патриотизм. Московским и петербургским представителям социальных элит (а зачастую и научным работникам, вышедшим из среднего класса) подобные городки кажутся бесформенной и, по правде говоря, пугающей «другой Россией». Историки пытались описать все разнообразие жизни и культуры в «магнитных горах» советской индустриальной глубинки. Однако даже среди тех, кто отказывает моногородам во всякой значимости, находятся люди, усматривающие в них наглядную иллюстрацию общегосударственных тенденций – безработицы, обнищания населения и возможного усиления политической оппозиции путинскому режиму. Очевидно, что, несмотря на частичную деиндустриализацию, эти населенные пункты сохраняют свое значение и как свидетельство неполного отказа от плановой экономики, и как пример каждодневной жизнестойкости и присутствия духа. Взять хотя бы рабочего в синей форме – бодрого, пусть и слегка потрепанного на вид: на первый взгляд, этот архетипический образ «столпа» российской семейной ячейки практически не изменился с советских времен. Речь пойдет именно об этом – о микростратегиях, помогающих рабочему классу, вопреки всей своей незащищенности, воспринимать повседневную жизнь не только как борьбу за выживание.

По словам исследователей Марии Каика и Эрика Свингедау, городское наследие заключается не только в собственно технологической инфраструктуре (водо- и газоснабжение, электроэнергия, коммуникация и т.д.), но и в сопутствующих ей сооружениях – «приданом» этой инфраструктуры: водонапорных башнях, плотинах, водокачках, электростанциях, бензоколонках (Kaika and Swyngedouw 2000:121). Эти элементы представляются одновременно источником и риска (взрывы, загрязнение окружающей среды, безработица), и жизненной силы в городках, подобных Излучину. Елена Трубина использует для их обозначения выражение «бросовое приданое» советской индустриальной модернизации. Представление об индустриальной России как о «бросовом приданом» чем-то напоминает бесконечные теории модернизации, нацеленные на воссоздание в современной России иерархии ценностей, включающей в себя и пространство, и людей. Академические исследования в России и за рубежом отличаются нормативной направленностью и акцентируют внимание прежде всего на ужасном качестве социальной жизни в городках, подобных Излучину. С позиции абстрактных мерок человеческого потенциала, в таких населенных пунктах действительно меньше возможностей для социального роста, однако их обитателей никоим образом нельзя считать «прикованными» к одному месту. Оценки качества социальной жизни основаны скорее на представлении о пре-

имущества доступа к космополитической потребительской экономике, чем на каких-то реальных замерах социального доверия или связей. Уровень социального доверия в целом в России довольно низок, но наличие личных связей давно стало залогом успеха в посткоммунистическом обществе, хотя об этом обыкновенно умалчивают, даже в разговорах о повальной коррупции.

Несмотря на распространенность представлений о том, что в российской глубинке царят разруха и упадок, к изучению городков вроде Излучина все чаще обращаются социологи, антропологи и журналисты. Их иногда сочувственные, а иногда патологизирующие описания выявляют поразительный факт: обитатели моногородов считают место своего проживания куда более пригодным для жизни, чем городские центры покрупнее. Все это – невзирая на низкие зарплаты, высокий уровень преступности, загрязнение окружающей среды и отток молодежи. Игнорируя слова жителей малых городов о том, что условия их жизни относительно благоприятны, российские социологические исследования упорно рисуют картину духовного и культурного упадка, безнадежности и обездоленности. На первый взгляд, эта создаваемая исследователями картина жизни в моногородах плохо увязывается с ощущением относительной комфортности и обитаемости Излучина, о котором говорят его непосредственные жители.

Ясно, что представление о «бросовости» наследия моногорода относится не только к самим населенным пунктам: оно связано с патологизацией конкретной части населения, не вписывающейся в телеологическое видение России как потенциально либерального демократического европейского государства. Поэтому-то жителей моногородов описывают как людей ограниченных и малосознательных, а неверие в то, что кто-то может существовать в подобных условиях, имплицитно отражается, например, в особом внимании авторов к статистике, доказывающей, что наемные работники в моногородах пребывают на грани выживания. Основная проблема заключается в их неспособности адаптироваться. Это они сами, в своей политической и социальной «отсталости», и есть проблема. Нам приходится в данном случае иметь дело с квазисоветским вокабуляром сумбурного социального дарвинизма, согласно которому жители моногородов олицетворяют целый ряд признаков «отсталости». Они плохо живут и рано умирают как из-за собственной неспособности приспособиться к новым рыночным условиям, так и из-за изменений, вызванных самими этими рыночными реформами.

Такой взгляд на вещи напоминает дискурсы «очернения» обывателей постиндустриальных районов и рабочего класса в целом. Однако восточноевропейская традиция не принимать во внимание значимость рабочего класса так же стара, как и социализм. Что касается ее *репрезентации*, то эта тенденция проявилась особенно ярко после краха коммунизма. Дискредитация рабочих, происходившая на всей постсоциалистической территории в бывших «государствах рабочих и крестьян», послужила отправным пунктом для переоценки в этих обществах принадлежности к среднему классу. В этом смысле взгляд на жизнь моногорода как на препятствие на пути к «полезной» модернизации является всего лишь продолжением нарратива о рабочем классе как помехе на пути к «переходу». На Западе монопрофильные поселки (*company towns*) тоже стали символами неудачи и раз-

рухи, но даже небесспорная «ностальгия по дымящим трубам», вероятно, предпочтительнее полного игнорирования рабочих, занятых на производстве, и их сообществ в России. Однако «период полураспада» деиндустриализации, когда поколение за поколением переживает процессы распада, а воспоминания приобретают все большую ценность, еще более актуален в российском контексте, где вхождение в мировую экономику и особенности экономического перехода растянули и истончили переживание деиндустриализации до такой степени, что опыт кризиса наносит рану многим поколениям сразу и только укрепляет их связь и память о невзгодах. И впрямь, если концепция Шерри Ли Линкон (Linkon 2013) о «периоде полураспада» (*half-life* – метафора взята из ядерной физики) деиндустриализации применима в основном к продолжающемуся переживанию прошлого через воспоминания, повествование и связь с местом событий, то социальный факт работы производственных рабочих в российском моногороде продолжает существовать вне зависимости от сокращения рабочих мест.

Вместо того чтобы, как на Западе, служить вышедшим из среднего класса исследователям постиндустриализации предметом для «созерцания катастрофы», российские обыватели, населяющие промышленные города, становятся мишенью для нападков сразу с трех сторон. Они не только превращаются в жертв постиндустриализма и отступления социального государства, но так же вдруг оказываются в положении глобального «Юга» – источника дешевой, не защищенной профсоюзами рабочей силы для переезжающих на эти территории международных концернов (таких как Volkswagen или Samsung), после чего, пока они молча трудятся, производя непропорционально большой объем валового внутреннего продукта, содержащего Москву и Санкт-Петербург, на них начинают смотреть свысока и патологизировать как социобиологический паразит на «новоочищенном теле» политического истеблишмента «либеральной России». Цель данного исследования – предложить читателям этнографический отчет о жизни производственных рабочих и, тем самым, заполнить пробелы в представлениях не только о классовых отношениях в России, но и о малом городе – монопрофильном или нет, рассказать о нем, как об обитаемом и, что более важно, вполне пригодном к проживанию, месте. Стимулом к проведению этого исследования послужил обзор Майкла Буравого (Burawoy 2001:1107), подметившего, что анализ альтернативных капитализмов зачастую «исключает подчиненные классы, которые в результате становятся недоуменно-молчащими и не имеющими права голоса сторонними наблюдателями накрывших их изменений». Слишком часто обитатели городов, подобных Излучину, кажутся пассивными жертвами трансформации, неспособными ни принять в ней участие, ни противостоять ей, ни «приручить» ее. Именно поэтому в рамках данного эмпирического подхода тезисы о рефлексивности и индивидуализации, на которых строятся неолиберальные по духу модели трансформации, воспринимаются более критично.

Исследователи данного региона давно уже призывают ученых обратить внимание на местные движущие силы и с помощью их анализа выявить специфику значений постсоциалистической повседневности. Говоря словами Мишеля де Серто, попытки облагородить свой частный мирок, сделать его пригодным для

жизни подчеркивают привычку обывателя довольствоваться малым: они ничуть не преуменьшают важность его неизбывной незащищенности, а скорее оттеняют ее. Стремление к бытовому комфорту показательно: оно демонстрирует, как именно люди понимают постсоциалистическую реальность и справляются с ней. Антрополог Томас Малаби полагает, что подобные действия входят в набор практик, составляющих жизненный мир человека, основанный на «непредвиденных обстоятельствах». Иными словами, неопределенность будущего не следует автоматически считать опасностью, проблемой или даже поводом для тревоги. Неопределенность не сводит анализ к мысли о том, что люди, чья жизнь, на наш взгляд, нестабильна, подчиняются детерминистическому экономическому рационализму, который мы отрицаем в самих себе. Когда риск превращается в повседневной жизни в категорию, близкую к нейтральной норме, такой же данностью становится межсубъектное понимание малых побед в деле создания для себя обитаемого уголка. Пусть это еще не активное «противление» за счет смекалки и находчивости, но уже и не просто «выживание». Это часть географически и социально обусловленного проявления «малой свободы воли» (*small agency*). Таким образом, несмотря на утрату социального доверия вообще, социальная сфера и общение как источник поддержки и комфорта – неперемные условия для успешного создания обитаемого жизненного мира, будь то совместная пьянка или курение в гараже в преимущественно мужской компании или вязание в кругу подруг и родственниц дома. Бытие для других, бытие для себя и социальные практики, существующие ради самих себя, – ключевые элементы обитаемости.

Вероятность катастрофы и повседневная реакция на нее так же важны в отклике от предубеждений о постсоциалистической личности в духе правительственной Мишеля Фуко. Работа над собой чаще всего направлена не на повышение уровня субъектности или подчинение неолиберальному порядку. Скорее наоборот: социальная поддержка и пригодность к жизни становятся скромными категориями альтернативного существования, нацеленного на то, чтобы «хватало» – и не пришлось подчиняться навязываемой извне необходимости в самопреобразовании. «Пригодные к жизни» люди стремятся в повседневных бытовых практиках к самодостаточности, причем не только материальной, оберегающей их от общей нынешней незащищенности и нестабильности (общей и для рабочего, и для среднего класса), но и личностной. «Быть достаточным» предполагает, с одной стороны, наличие некоего объективного набора ценностей, отличных от личности как проекта, и, с другой, индивида, самооценка которого зиждется на собственной предприимчивости. Как это ни парадоксально, практики, нацеленные на достижение достаточности и комфортности без работы над собой (такой, как формальная переквалификация для трудоустройства на новое производство или попытки войти в средний класс), часто требуют не меньшего «предпринимательского» риска в неформальных видах экономической деятельности, от частного извоза (занятие, известное под названием «бомбить») до «халтуры» («халтурить», то есть подрабатывать слесарем, строительным рабочим или даже нянкой или косметологом). Примечательно, что все эти действия служат способом избежать воспринимаемой как унижение работы над собой, как правило неизбежной для достижения успеха

на новых неолиберальных коммерческих предприятиях, которые, по общему мнению, зачастую не оставляют места самостоятельности и чувству профессиональной гордости.

Соответственно, связанные с самоопределением и свойственные обоим полам практики, демонстрирующие народную изворотливость, в моногородах имеют в свою очередь тесную связь с более традиционными для рабочего класса ценностями: внешней респектабельностью, пристойностью, умением работать руками и бережливостью. Производство обитаемости на местах связано с удобством и поддержкой плотно спрессованной социальной среды. Конечно, иногда эта кучность – не столько благо, сколько обуза, особенно для тех, кто хотел бы вырваться за рамки традиционных гендерных или классовых ролей. Тем не менее многие обитатели моногородов принимают к сведению подобные практики для того, чтобы в большей или меньшей степени воспроизвести классовую, профессиональную и семейную солидарность в системе общих ценностей, позволяющей им «освоить» самоопределение рабочего и жителя моногорода, сделать их «своими». Сама «скудость» места их проживания порождает альтернативные источники самооценки и автономистских ценностей. Несмотря на то, что экономическая структура обрекает жителей моногородов на то, чтобы пребывать в довольно тяжелом положении, это «позиционное страдание» в понимании Пьера Бурдьё не отменяет наличия у них социального и культурного капитала в его собственном значении. Отрицая наличие этого капитала, мы рискуем совершить ту же ошибку, что и те, кто считает моногород «бросовым приданым», не имеющим ни малейшей ценности не только для постсоциалистического «жениха» (общества в целом), но даже и для людей, реально его населяющих и всячески пытающихся «облагородить» выпавшую им долю. По сути, когда речь заходит о повседневной жизни, метафора приданого теряет всякий смысл. Куда лучше видеть в обыкновенных жителях моногородов людей, пытающихся наилучшим способом воспользоваться постсоциалистическим «наследием» городского пространства – наследием, которое будет с ними еще очень долго вне зависимости от политических решений и стратегий (таких, как часто обсуждаемые идеи о переселении). То, что в глазах одних лишено всякой ценности, другим видится как дома и семьи, вовлеченные в болезненный круговорот трансформаций.

Судя по привычным меркам человеческого развития, моногород и впрямь не самое подходящее место для обитания: у его обитателей нет финансовой защиты, их здоровье в опасности, а продолжительность жизни ниже, чем где бы то ни было еще. Их доступ к средствам социальной мобильности в предпринимательстве или образовании весьма сомнителен. Тем не менее их жизни структурированы множественными и высоко оцениваемыми социальными связями широкой протяженности, сложных обязательств и глубокого содержания. Они разделяют практики, создающие автономистическую ценность. Если заменить понятие человеческого развития понятиями человеческого потенциала, такими как «счастье», «творчество» и «самореализация», жизни обитателей городов покажутся ничуть не менее «нормальными», чем жизни москвичей из среднего класса. Как уже было показано на материале сходных городских контекстов на Западе, забота и межличност-

ные связи вполне могут расти из остатков прошлого. Чувство ценности разделяемого «синими воротничками» самоопределения продолжает существовать и усиливает подобные социальные связи. Даже если несомненные факты социального и промышленного наследия канули в Лету, в ностальгии нет нужды.

*Перевод с английского Елены Леменёвой,  
научный редактор перевода – Олеся Кирчик*

#### **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

- Burawoy, Michael. 2001. "Neoclassical Sociology: From the End of Communism to the End of Classes." *American Journal of Sociology* 106(4):1099–1120.
- Kaika, Maria, and Erik Swyngedouw. 2000. "Fetishizing the Modern City: The Phantasmagoria of Urban Technological Networks." *International Journal of Urban and Regional Research* 24(1):120–138.
- Linkon, Sherry Lee. 2013. "Narrating Past and Future: Deindustrialized Landscapes as Resources." *International Labor and Working-Class History* 84:38–54.